



## **Д. И. ЧИЖЕВСКИЙ**

### **М. А. Бакунин**

#### **1**

Михаил Александрович Бакунин (1814–1876) занял после отъезда Станкевича за границу его центральное место среди гегельянской молодежи. Трудно найти человека более непохожего на Станкевича, чем Бакунин. Станкевич — гармоническая и стройная натура, сообщающая черты внутренней полноты даже незрелым и незаконченным своим мыслям, носящая отпечаток твердости и спокойствия даже в периоды исканий и душевных волнений. Бакунин — всегда незавершенный, всегда куда-то стремящийся, беспокойный и страстный, ищущий не столько друзей, сколько покорных последователей или врагов, даже в проповеди «примирения» и «блаженства» беспокоящий и раздражающий, вечно разжигающий какие-то новые надежды, — он, по великолепному выражению Герцена, родился не под неподвижной звездой, а под кометой. У него нет и следа тонкого эстетического чувства Станкевича, связанного у Станкевича органически с сердечной нежностью и человеческой мягкостью. У него нет всепреодолевающей иронии Станкевича, а только безумная ненависть. Бакунин, быть может, обладал чертами не менее важными для мыслителя: он строго сух и неумолимо последователен, он непримирим и неуступчив, он сживается с мыслью, принимает ее в свою внутреннюю жизнь не с любвеобильной легкостью Станкевича, но через муки и самобичевание мысли. Он не влюблен в идеи, как Станкевич, а одержим ими. К несчастью, характерные черты внутренней жизни Бакунина — ее восторженная сухость, безумная преданность идее и неистовая одержимость — с той же силой проявляются и во всех его внешних отношениях к другим людям, к чужим идеям. Поэтому вовне Бакунин выступает как сухой проповедник — для непризнавших еще его или от него уже отошедших и как самовластный законодатель — для

своих «последователей». В истории русской мысли нет иного примера, равного бакунинской силе философского фанатизма.

Неудивительно, что члены кружка Станкевича, принимавшие руководство Станкевича добровольно и бессознательно, подчинившиеся и водительству Бакунина уже в силу того, что не было более никого, кто так знал бы философию Гегеля и с такой энергией проповедовал бы ее, воспринимают это водительство все же как духовное насилие и тиранию. Бакунин сам объявляет себя духовным вождем, сам ведет себя как тиран и диктатор. Он с тем большей непримиримостью и нетерпимостью борется против всех «уклонов», ошибок, непоследовательностей и уступок своих друзей, чем более он видит в них только недоразумения, заблуждения, непонимание, грехи против Духа. Его письма инакомыслящим — своего рода обвинительные акты; несомненно, и в разговорах и спорах он выступал таким же образом. Инакомыслие для Бакунина — всегда «ересь». Достаточно объявить сомневающегося и колеблющегося ересиархом, чтобы он и сам почувствовал себя таким. В кружке Станкевича появляются в бакунинский период бунтовщики и повстанцы. Но бунтовщики даже в восстаниях против безусловного авторитета Бакунина ощущают его жуткое величие. В спорах с равно неистовым Белинским Бакунин сам почувствовал, что Белинский воспринимает его как «подлеца, фразера, логическую натяжку, мертвый, логический скелет, без горячей крови, без жизни, без движения», и Белинский, признаваясь, что он *и так* оценивает Бакунина, в то же время вынужден признать в нем и другое «существо»: «прекрасное и высокое, могучее и глубокое»; «бунт» Белинского кончается и признанием: «Ты предстал мне во всей своей глубокой сущности, во всем свете своего значения, могущий, просветленный, львообразный». И позже Белинский готов признать, что в Бакунине «есть нечто, что перевешивает все его недостатки, — вечно движущееся начало, лежащее во глубине его духа». Львообразность Бакунина проистекает из чистой «демонии понятия», воплощенной в нем как ни в ком другом из его друзей и современников.

Для Бакунина характерна его полная преданность, полная отдача себя понятию, мышлению. Его мышление максимально интуитивно, в нем нет никаких элементов наглядности. Вернее, в нем есть только чисто логическая наглядность. Его мышление направлено не на *мир*, а *против мира*. Это — та черта, которая объединяет все — такие различные — стадии его духовного развития. Все непосредственно конкретное он растворяет в логических категориях, он разрезает, если угодно, и «просвещает», «идеализирует» бытие. Но в стихии мысли у него исчезает всякая реальность, всякая «жизнь», — она не поглощается мыслью, не просветляется в ней,

но исчезает бесследно. И все великие и малые «бунты» его последователей, друзей и учеников против него показывают, что у всех них стремление к философии, к мышлению только прикрывало иные «мирские», конкретные, «практические» интересы. Напротив, Бакунин перед своей поездкой за границу — единственный, наряду со Станкевичем, представитель чистого теоретического интереса среди тогдашних русских гегельянцев. Его не интересуют люди — но только истина. Поэтому по человечеству все его друзья поражены его холодностью, невнимательностью, презрительным равнодушием. И все же он может зажечь их своим воодушевлением мыслью. Он — отшельник, монах, странное и жуткое соединение аскета и «солдата Духа», так как он — неутомимый борец, борется не за себя, но в полной отданности своего «я» объективной данности мысли.

И странным образом наряду с этими чертами Бакунина и за ними стоит его идеал внутреннего преобразования человека. Безусловное служение философии для него с самого начала обусловлено служением невидимой общине свободных и любящих «я». Письма его полны словами о «свободе», «примирении», о «любви», в то время как эта свобода оказывается абсолютной покорностью, примирение — неистойвой непримиримостью, любовь — если не ненавистью, то полным бессердечием. Ибо его свободные и примиренные «я» оказываются только «абсолютными» и «абстрактными» «я». Чтобы примириться, жить, любить, быть свободным, надо, по Бакунину, совершенно уничтожить, подавить, опустошить, выжечь свое конкретное, человеческое, живое «я». Бакунин не хочет отрицать, отвергать конкретных людей и конкретной человечности, но и «я», и человечность он видит только сквозь ту же холодную, отвлеченную мысль, в которой надо раствориться, уничтожиться, чтобы приобрести новую, настоящую, действительную «жизнь». В этой своеобразной духовной установке нетрудно увидеть какую-то псевдоморфозу христианской мистики. Процессов рождения этой псевдоморфозы не уясняет нам до конца все обширное наследие ранних лет Бакунина.

## 2

Жизнь Бакунина — достаточно известная — напоминает авантурный роман. Молодой офицер оставляет службу, чтобы посвятить себя «науке», — науке, которая в тогдашней русской жизни не занимала никакого определенного места, — философии. Без помощи родителей, в неистойвой борьбе с собою и со всем окружением, часто всеми оставленный, он добивается осуществления своей мечты — поездки за границу. Но у источников философии Гегеля — в Берлине — он

переживает глубокий внутренний кризис, в результате которого и оказывается противником не только философии, но и всей культуры вообще. Его звезда — или «комета» — ведет его по всей бунтующей Европе как революционера, в отличие от борющихся за какие-то конкретные задачи европейских революционеров 1848 г. «абстрактного революционера». Из русских тюрем и сибирского изгнания он ухитряется фантастическим образом бежать в Европу, где долгие годы борется за «безвластие», самоотверженный, непримиримый и непримиренный, борется за безвластие не только политическое, но и социальное, духовное, религиозное.

Публикации ранних писем Бакунина показывают, что с военной службы его внутренне ничто не связывало. Увлечение шеллингианством было только последним толчком, выведшим его из состояния неустойчивого равновесия. Он отворачивается навсегда от «света» и хочет посвятить себя «науке». В науке он ищет «внутренней жизни» и «внутреннего счастья». На путях традиционной религиозности он не надеется их найти. «Наука» с самого начала не была ничем иным, как философией. Окончательно укрепило Бакунина его знакомство со Станкевичем, знакомство, которое было решающим не только благодаря внутреннему содержанию духовной жизни Станкевича, к которому приобщился Бакунин, но в такой же мере и благодаря душевной красоте, внутренней гармоничности Станкевича. Сближение со Станкевичем Бакунин всегда считал «счастливейшим временем» своей жизни. Вряд ли будет ошибкой предположить, что внутреннее спокойствие, «примиренность» Станкевича оказались теми чертами, к которым Бакунин безотчетно стремился, и что впечатление, произведенное Станкевичем, оказалось одним из немногих конкретных впечатлений, из которых выросли идеалы Бакунина, идеалы примирения, любви и внутренней свободы, которых Бакунин хотел достичь на пути теоретического мышления.

<...> Весной 1835 г. Бакунин в письмах сестрам Бееровым впервые набрасывает систему философского мировоззрения, в которой его идеалы «внутренней жизни» сплетены с отдельными мыслями философии Шеллинга. Природа есть «отображение» Божества. В природе и человеке — искры божественного бытия. Эти искры стремятся к воссоединению с божественной жизнью. «Эго — вечное стремление части к целому». Такое же стремление заложено и в жизни человека, и в жизни человечества. Это стремление есть «идея» жизни. Она выражается «в любви к людям, к человечеству и в стремлении к целому, к совершенствованию». Бакунин чувствует, что его предназначение особое, — «рука Божия начертала в моем сердце эти священные слова, обнимающие все мое существование:

он не будет жить для себя». «Быть в состоянии пожертвовать всем для этой священной цели — вот мое единственное честолюбие».

Станкевич помогает Бакунину советами в его дальнейших занятиях. Бакунину, который умеет по-немецки, можно посоветовать чтение «Критики способности суждения» Канта, которую тогда (осень 1840 г.) читает сам Станкевич. Станкевич дает Бакунину конкретные советы о порядке занятий и разъясняет ему непонятное. Бакунин выходит в отставку и переселяется в Москву, без всяких средств к жизни и без определенных планов; домой он пишет об «уроках математики», которые он собирается давать. Это его «бегство в Медину». Вскоре Станкевич обращается к чтению Фихте, который имел для него несравненно большее значение, чем Кант и Шеллинг, последнего Бакунин вряд ли серьезно изучал. Бакунин читает «О назначении ученого» (перевод первых четырех лекций из пяти он печатает в «Телескопе», 1835), а затем «Наставления к блаженной жизни». Стиль особенно этого второго произведения Фихте оставил неизгладимый след в языке Бакунина. Несомненно, Бакунин нашел в «Наставлении» целый ряд мыслей, которые ему уже предносились.

Переписка Бакунина наполняется проповедью мыслей, сложившихся в нем под влиянием Фихте. Письма Бакунина адресованы, главным образом, его сестрам, сестрам Беер, иногда московским друзьям. «Долго я силился, долго таил чувства свои, — пишет он сестрам 28 февраля 1836 г., — ...но теперь я не могу более молчать... Для меня настало поприще деятельности; душа моя... проснулась, заволновалась, все струны издали звуки... На душе ясно, светло... Я сознал себя, я никогда еще не сознавал себя так верно, так определенно, как теперь». К ясности и свету душевному человек должен прийти через страдание: «Человек, который не страдал, не жил; одно только страдание может привести к сознанию жизни, и если счастье есть полное сознание жизни, то страдание есть тоже необходимое условие счастья...», так как только страдание приводит человека к сознанию, что «вне духовного мира нет истинной жизни, что душа должна быть собственной целью, что она не должна иметь другой цели». От Фихте Бакунин узнал, что «любить, действовать под влиянием какой-нибудь мысли, согретой чувством, — вот задача жизни». Но «предмет истинной любви», «цель жизни» — «...Бог. Не тот Бог, которому молятся в церквях, не тот, которому думают понравиться унижением перед ним, не тот, который отдельно от мира судит живых и мертвых, нет, но тот, который живет в человечестве, который возвышается с возвышением» человека. «Мой Бог выше вашего», — возвещает Бакунин, и его ближайшей задачей стано-

вится борьба за этого «своего Бога». Его борьба направлена против «обязанностей», «условностей», «условий, выкованных унижением человека», против «относительных идей... ограничивающих волю» человека. Ибо и в этом всем он видит только препятствия на пути развития внутренней жизни, духовного самоопределения человека. Фихте соединяется у Бакунина с немецкой поэзией (Шиллер, Жан Поль, Гофман<sup>1</sup>, Беттина фон Арним<sup>2</sup>) в некое революционно-романтическое целое. Он хочет «истины как она есть, а не приспособленной к определенным обстоятельствам» (март 1836 г.). «Существует одна только истина: это та, которую я понимаю, та, которую я так живо чувствую, а эта истина ревнива, она хочет царить одна, безраздельно... Нужно разбить все ложное без жалости и без изъятий для торжества истины». Мог ли иначе думать человек, который «чувствует в своем внутреннем существе нечто такое, что никогда не обманет меня, что не зависит ни от чего внешнего. Я чувствую в себе Бога... Душа моя — вся любовь... Я ощущаю рай в душе». Сперва Бакунин хочет порвать всякие отношения с родными (потому что его душа — «вся любовь!»), но затем у него созревает план создания религиозно-нравственной общины, в которую постепенно входят сестры Беер и сестры, а позже и братья Бакунина. В это время Бакунин сближается с Белинским, который на некоторое время делается его верным последователем.

Победа его идей в небольшом кружке, в «общине» последователей, приводит Бакунина в необычайное энтузиастическое возбуждение, которое, впрочем, не удерживается долго. За периодом энтузиазма следует период угнетенного настроения, уныния: «О, это был ад, со всеми его ужасами. Я утратил эту абсолютную любовь, которая составляла мое существование, и сделался существом эгоистическим, жалким...» Параллельно с занятиями Гегелем (начало 1837 г.) энтузиазм возвращается снова. На этот раз он принимает аскетически-мистическую окраску в еще большей степени, чем в период фихтеанства. Впрочем, как кажется, новая волна энтузиазма только поддерживается Гегелем, но отнюдь им не вызвана. Уже в конце 1836 г. Бакунин пишет (22 декабря 1836 г.): «Уныние прошло... Для меня существует... только один путь к спасению: это — совершенно убить свое личное “я”, убить все, что составляет его жизнь, его упования и личные верования. Нужно жить и дышать только для абсолюта, посредством абсолюта, а не моего личного “я”. Для меня... счастье... возможно лишь при полном забвении себя, при полном самоотречении». «Я не должен ничего искать для себя вне самого себя... я должен совершенно растворить свою личность в абсолютном...» (10 января 1837 г.). Уже через месяц Бакунин чувствует,

что борьба его кончена, чувствует себя победителем: «Думаю, что мое личное “я” убито навсегда, оно не ищет уже ничего для себя, его жизнь отныне будет жизнью в абсолютном... Мое личное “я”... обрело абсолют всегда неизменный, всегда полный высокой красоты, всегда богатый небесными радостями... Моя жизнь есть истинная жизнь... она в известном смысле отождествилась с абсолютной жизнью» (4 февраля 1837 г.). Бакунин перелагает мысли Гегеля, которые ему известны только в общих чертах, на язык «наставления к блаженной жизни». Он стремится к «внутренней гармонии», основой которой должны быть «истинные и неподвижные идеи». Душа его должна создать для себя новый «внешний мир», который должен быть подчинен законам человеческого разума, совпадающим с законами божественного разума. Отзвуки мистической терминологии теперь еще сильнее, чем раньше: человек должен «обожестьвться», отождествить свою волю с Божией волей; человек достигает свободы только в Боге. «Абсолютная любовь, которая развилась в бесконечности вечного мира, в природе, стремится снова сосредоточиться в себе. Природа, до тех пор мертвая, начинает приходить к самосознанию. Человек есть орган этого самосознания природы». Движение человека на пути самосознания ведет его к слиянию с другими в Боге. На этом пути возникают «дружба, любовь, искусство, творчество, наука и, наконец, религия». «И это единение людей в Боге во всех этих разнообразных формах — вот что составляет божественный внешний мир, святую общину, святую церковь, в которой человек должен жить, чтобы быть человеком» (11 февраля 1837 г.). Этот путь создания «нового внешнего мира» есть в то же время и путь разрушения: «Гармония должна быть разрушена соприкосновением с миром, ибо, как говорит Гегель, гармония, выносимая из дому, еще не есть истинная гармония. Она должна подвергнуться противоречиям бурь, пережить страшную борьбу, дать разрушиться, заставить человека страдать и принудить его восстанавливать ее при помощи мысли». Мысль ведет к созданию новой гармонии: «Человек становится действительно человеком, он заново строит храм, более прекрасный и более возвышенный, божественный, чем разрушенный бурями. Отныне этот храм абсолютной любви не будет бояться бурь, ибо он прошел все ступени своего развития. Инстинктивная гармония, гармония чувства, восстанавливается в гармонии мысли». Достижение этой новой гармонии есть «в вечности непоколебимый залог незыблемого блаженства» (20 февраля 1837 г.).

Таким образом Бакунин осмысляет свой собственный путь, создает формальную схему учения о развитии, которая остается у него неизменной в течение долгих лет, наполняясь различным содержанием.

## 3

Занятия Гегелем начинаются в первые месяцы 1837 г. Правда, еще в одном из писем от апреля 1836 г. Бакунин упоминает Гегеля наряду с Кантом, Фихте и Шеллингом, но упоминание это не свидетельствует о каком-то ближайшем знакомстве с Гегелем: Гегель, как и остальные представители немецкого идеализма, готовят, мол, явление Бога через мысль. Уже письма от февраля 1837 г. делают совершенно ясным, что Бакунин занимается Гегелем. В мае он сам пишет об этом: «Гегель дает мне совершенно новую жизнь»; от лета 1837 г. сохранились конспекты занятий Бакунина. В июле Бакунин начинает чтение «Феноменологии», но ему не удается пойти дальше главы о восприятии. 21 июля он начинает чтение «Энциклопедии»; и в этом случае он осиливает только введение. Параллельно он читает «Философию религии» и кончает это чтение в августе. В сентябре он снова берется за параллельное изучение «Феноменологии» и «Энциклопедии». «Феноменология» снова останавливается на той же главе, «Энциклопедия» читается целую зиму, несколько раз повторяется; в марте 1838 г. Бакунин читает 3-й том «Энциклопедии», в апреле начинает «Логику», которой занимается в продолжение целого лета. Наряду с этим Бакунин читает исторические и богословские сочинения. По сообщению Белинского, он «просматривает» и «Философию права».

Изучение Гегеля усиливает новую волну бакунинского энтузиазма. При этом все возрастает значение, приписываемое Бакуниным теоретическому познанию в его псевдомистической системе. «Да, жизнь есть блаженство; жить — значит понимать, понимать жизнь; нет зла, все благо; только ограничение есть зло... Все сущее есть жизнь духа, все проникнуто духом, нет ничего вне духа. Дух есть абсолютное знание, абсолютная свобода, абсолютная любовь, а следовательно, абсолютное блаженство». Естественный человек — только «момент» абсолютной жизни. Через сознание человек возвращается из конечности к своему бесконечному существу. Таким образом преодолеваются границы, узость человеческого существования и вместе с тем зло и несчастье. В конечном сознании заложена, таким образом, *возможность и необходимость* освобождения и счастья. «Итак: нет зла, все благо; жизнь есть блаженство» (4 сентября 1837 г.). Бакунин многообразно варьирует эти мысли: «стороны» человека, «непросветленным духом... оковывают его, мешают ему слиться с Богом, делают его рабом случайности. Случай есть ложь, призрак; в истинной и действительной жизни нет случая, там все — святая необходимость». Сознание освобождает человека из цепей случая.



«Все живет, все оживлено духом. Только для мертвого глаза действительность мертва. Действительность есть вечная жизнь Бога. Бессознательный человек также живет в этой действительности, но он не сознает ее, для него все мертво... Чем живее человек, тем более он проникнут самостоятельным духом, тем живее для него действительность... Что *действительно, то разумно*. Дух есть абсолютное могущество, источник всякого могущества. Действительность — его жизнь, а следовательно, действительность всемогуща... Конечный человек отделен от Бога... Для него действительность и благо не тождественны; для него существует разделение добра и зла...» Такой человек боится действительности, он ненавидит ее. Это значит — «он ненавидит и не знает Бога. Действительность есть воля Божия. В поэзии, в религии и, наконец, в философии и совершается великий акт примирения человека с Богом», — характерно, что высшее место сейчас уже занимает философия — не религия! Для «религиозного человека» (которого Бакунин противопоставляет «нравственному») «нет зла: он видит в нем призрак, смерть, ограниченность, побежденную откровением Христа. Религиозный человек чувствует свое индивидуальное бессилие, зная, что все могущество — от Бога, и ждет от него просветления, благодати. Благодать... рассеивает туман, отделивший его от солнца».

Философия — человеческая и божественная наука одновременно: «Она содержит в себе могущество благодати — очищение человека от призрака и соединение его с Богом». Мы встречаем, таким образом, у Бакунина типично мистические понятия — «очищение» (катарзис) и «соединение с Богом»! Человек, прошедший через «все три сферы развития», — «совершенный, всемогущий человек; действительность для него — абсолютное благо, воля Божия — его сознательная воля».

Путь к мистическим целям для Бакунина — путь гностический, путь познания. Истинная мысль противопоставляется «рассуждению»: «Мыслите, но не рассуждайте; мысль питает, просветляет душу; расхождения убивают ее». Истинная мысль, мысль, познающая необходимость всего, мысль, примиряющая с миром, «возносит вас на крыльях своих в царство бессмертного, вечного блаженства» (18 февраля 1838 г.). В человеке живут и борются «два противоположных элемента: откровение и рассудок». «Посредница между этими двумя противоположными элементами нашей жизни есть мысль, которая вырывает ум наш из конечного определения рассудка и преображает его в разум, для которого нет противоречий и для которого все благо и прекрасно. И потому, друзья мои, мыслите, а не рассуждайте».

Это мировоззрение, как оказывается, не спасает Бакунина от самых внутренних кризисов. «Внутреннее страдание, внутренняя борьба посещают меня чаще, чем когда-нибудь... Но я не боюсь этих страданий. Чем более страдание жизни, перенесенное человеком, тем должно быть выше примирение его в благодати. Страдание есть признак движения вперед, а движение есть признак живого источника жизни, а где есть жизнь, там и любовь, там и блаженство и все прекрасное и истинное». Свой индивидуальный путь Бакунин представляет себе как постоянную борьбу: «Я чувствую в себе много сил и элементов... Но мне предлежит еще долгий и тяжелый путь до достижения моей действительности, и я не боюсь этого: чем более отрицаний, чем сильнее борьба, тем глубже гармония и примирение... Мне нужно переделать, преобразить себя, мне должно стать новым, просветленным человеком, наполнить себя истиною и проникнуть жизнь свою этою истиною».

Можно сказать, что философия Гегеля принимает для Бакунина форму какой-то новой религии. И нет ничего удивительного, что Бакунин прилагает свои схемы к решению всех вопросов личной жизни, вплоть до вопроса об отношении к пробуждающемуся в нем чувству любви. С точки зрения своих схем Бакунин решает вопросы о жизненных судьбах своих братьев и, в первую очередь, своих сестер. Судьба живых людей, попавших во власть гегелевских — или псевдогегелевских — схем, не очень завидна. Тем более что эти схемы представлены живым, энергичным и склонным к тирании человеком — Михаилом Бакуниным. Философские размышления играют не последнюю роль в том, что одна из сестер Бакунина, Варвара, на время расходится со своим мужем, — эта «борьба за освобождение Вареньки» составляет существенное содержание переписки Бакунина в течение долгого времени. Носимый своим философским оптимизмом, Бакунин не замечает в жизни никаких трагических проблем, не знает сомнений, не видит трудностей, не слышит вопросов.

Но этот оптимизм приводит Бакунина к резкому столкновению с Белинским, который хотел бы и самого себя принудить к той же оптимистической оценке действительности, которую — от имени Гегеля — проповедует ему Бакунин. Для Белинского любовь к «конкретному» оказывается невозможной, тем более что Белинский под «действительностью» склонен понимать «дурную действительность»: голую чувственность вместо любви, повседневность вместо бытия, недостаток идеального вместо слияния индивидуального с эмпирическим. Конфликт заостряется благодаря поведению Бакунина, который, чувствуя себя духовным диктатором, не убеждает, а требует и повелевает. Бакунина, правда, не интересуют «индивидуальные»

«субъекты и образы», судьба которых прежде всего занимает Белинского. И позже один из друзей Бакунина, Грановский, совершенно правильно утверждал, что для Бакунина не было субъектов, а только объекты. Бакунина постигает судьба всех тиранов: он оказывается в одиночестве, несмотря даже на то, что его братья и сестры только медленно и постепенно выходят из-под власти его духовной диктатуры. Он начинает чувствовать сам, что «вся моя жизнь и все мое достоинство состояли в какой-то абстрактной силе духа, — да и та разбилась...». Быть может, признаком глубины кризиса является, что Бакунин ищет чисто внешнего выхода из него. Он хватается за свою старую мечту — учиться в Берлине, «от которого ожидаю перерождения, крещения от воды и духа... Не знаю, удастся ли мне». Вопрос о поездке в Берлин становится для него «вопросом о жизни и смерти». Бакунин не находит в себе силы признаться в этом внутреннем кризисе кому-либо из близких в России: все его признания и самоосуждения направлены далекому другу, Станкевичу (13 мая 1839 г.; 11 февраля 1840 г.), умирающему за границей.

Внутренний кризис, безденежье, ссоры и разрывы с друзьями не мешают Бакунину лихорадочно работать. Пишет он, правда, очень немного, но читает чрезвычайно много. Он продолжает изучать Гегеля, имея в руках все к тому времени вышедшие тома собрания сочинений. Особенный интерес имеет для него, кроме философии, богословие и история. <...>

В 1840 г. вопрос о поездке за границу решается положительно благодаря материальной помощи Герцена (и, вероятно, Огарева). Его отношения с членами кружка Станкевича почти все окончательно порваны. На пароход, которым он уезжал за границу 29 июня 1840 г., его проводил один только из «новых друзей», Герцен.

#### 4

Во время своего увлечения философией Бакунин напечатал только перевод «Назначения ученого» Фихте, перевод гимназических речей Гегеля с интересным, но очень кратким предисловием и статью «О философии», которая должна была быть первой в ряду статей; была написана и вторая, сохранившаяся в рукописи и напечатанная впервые в 1934 г.

Стилистически статьи и переводы Бакунина стоят значительно ниже его писем и заметок, не предназначенных к печати. Сухая и неясная краткость характеризует его предназначенные к печати работы.

Введение к гимназическим речам Гегеля («Московский наблюдатель», 1838, 16) намечает отношение Бакунина к «действи-

тельности» — тема, как мы увидим позже, очень существенная в истории русского гегельянства. Бакунин возвещает здесь необходимость «примирения» с действительностью. Философия Гегеля руководит им на пути этого «примирения».

В действительности, в жизни, «все прекрасно, все благо», «самые страдания в ней необходимы как очищение духа, как переход его от тьмы к свету, к просветлению». Слова Гегеля (во введении к «Философии права») «все действительное разумно» Бакунин истолковывает в смысле этого своего оптимизма.

Не каждый может видеть эту красоту, эту разумность действительного. Бакунин нападает на всех, кто отрицает разумный характер жизни, кто требует от действительности того, что действительность *не есть*, кто противопоставляет действительности идеалы, вне ее и будто бы «выше» ее стоящие. «Болезнь» таких людей лежит в их «жалкой и бессильной индивидуальности», в их «собственной отвлеченности». Критики действительности — «призрачные люди». Жизнь таких людей состоит из «беспрестанных мучений, беспрестанных разочарований», это — «борьба без выхода и без конца и это внутреннее распадение, эта внутренняя разорванность есть необходимое следствие отвлеченности и призрачности конечного рассудка, для которого нет ничего конкретного и который превращает всякую жизнь в смерть».

<...> Бакунин на нескольких страницах очертил круг духовных течений Запада, игравших в тогдашней России ту или иную роль. Он ставит диагноз «болезни», общей всем этим течениям. Этот диагноз, правда, не обоснован, а только формулирован. Но явлениям болезненным Бакунин противопоставляет иные духовные силы, стремящиеся к примирению с действительностью. Представители этих сил в поэзии — Гёте и Пушкин, в философии — Гегель. Преодоление байронизма в поэзии Пушкина показывает, что «Пушкин не мог долго оставаться в этой призрачности», «его гениальная субстанция вырвала его из этой бесконечной пустоты духа и насильно вела его к примирению с действительностью». «Да, счастье — не в призраке, не в отвлеченном сне, а в живой действительности. Восстать против действительности и убивать в себе всякий живой источник жизни — одно и то же. Примирение с действительностью во всех отношениях и во всех сферах жизни есть великая задача нашего времени, и Гегель и Гёте — главы этого примирения, этого возвращения из смерти в жизнь».

Новое поколение, к которому Бакунин, конечно, относит прежде всего себя самого и своих друзей, «должно сродниться наконец с нашей прекрасной русской действительностью, и... оставив все пустые

претензии на гениальность... ощутить наконец в себе законную потребность быть действительными русскими людьми».

Эти немногие страницы, и прежде всего написанные стилем манифеста основные тезисы статьи, произвели, по крайней мере на друзей Бакунина, сильное впечатление. Мы еще увидим, как проповедь примирения с действительностью воспринял и как развил ее дальше Белинский. В дальнейшем развитии Бакунина примирение «с нашей прекрасной действительностью» не играло никакой существенной роли.

## 5

В 1840 г. появилась в «Отечественных записках» (IX, 4) статья Бакунина «О философии». Вторую статью он оставил в редакции журнала при отъезде за границу; она не была тогда напечатана. Предполагавшиеся дальнейшие статьи не были, вероятно, и написаны.

Теперь Бакунин пишет в чисто теоретическом стиле. И постановка вопроса, и аргументация двигаются в плоскости философской теории и из нее не выходят, хотя отдельные (немногие) мысли и связаны так или иначе с вопросами русской истории и русской современности. Общая тема статей, написанных и не написанных: «что такое философия?»; исходя из определения философии, Бакунин предполагал ответить на два дальнейших вопроса: «полезна ли философия и возможна ли она?» Изложение в большинстве случаев чрезвычайно близко примыкает к отдельным произведениям Гегеля. Первая (напечатанная) статья — к введению в «Энциклопедию», вторая — к «Феноменологии духа».

Центральную часть первой статьи представляет философская критика эмпиризма. Лишь в порядке отвода недоразумений отбрасывается как мнимая философия французская философия XVIII в. Предисловие к гимназическим речам сжато в одну фразу: «Философия никогда не будет безбожною и анархическою, потому что сущность ее жизни и ее движения состоит в искании Бога и вечного, разумного порядка». Новое упоминание о Weltweisheit Шлегеля<sup>3</sup>, также отвергаемой. Эмпирики и теоретики неосновательно претендуют на то, чтобы считаться философами. Эмпирия, основывающаяся на опыте, и теория, доказывающая или лучше подтверждающая свои обобщения данными опыта, обе «не выходят из пределов эмпиризма». Но эмпиризм не может быть «действительным знанием истины», так как он «не в состоянии возвыситься до истинно всеобщего и единого начала». Между тем главные признаки философии, действительного знания, — необходимость и всеобщность. Признаки

недействительного, нефилософского, знания — противоположны; случайность и частный характер — именно они свойственны эмпирическому знанию.

Необходимость может проистекать только из чистой мысли, всеобщность знание может получить, только если оно направлено на высшее единство всего частного. И необходимость, и всеобщность могут быть достигнуты только живым, всеобщим знанием. Путь такого знания — «умозрение», «спекулятивное мышление». Цель его — «абсолютная истина».

Всеобщее всегда было предметом философии, так как «мысль по существу своему есть всеобщее». Философия доэмпирическая искала отвлеченно всеобщей истины. Заслуга эмпиризма — в пробуждении интереса к единичному, многообразному, разнообразному. Но истина «конкретная и целостная» состоит в «неразрывном и разумном единстве всеобщего и особенного, бесконечного и конечного, единого и многообразного» или «отвлеченного конечного и неотвлеченного бесконечного». Философия как знание этой конкретной целостности, абсолютной истины, есть знание о «единой, необходимой, всеобщей и бесконечной истине, осуществляющейся в многообразии и в конечности действительного мира».

Мы должны были отделить друг от друга элементы критики и положительного построения в первой части статьи. Эти элементы в статье сплетены слишком тесно. Вторая часть посвящена дальнейшей характеристике положительного содержания философии. Путь философии — восхождение от внешнего и случайного многообразия к единству всеобщего и необходимого начала. Чувство и вера, что за множественностью этого мира скрыто единство, свойственны уже обыденному сознанию. Эмпирики стремятся к той же цели — к нахождению единства; но их методы — наблюдение, сравнение, аналогия — оказываются недостаточными для достижения этой цели. Только спекулятивная философия есть органическое и совершенно прозрачное целое. Философским знанием можно назвать только такое знание, «которое... обнимает всю нераздельную полноту абсолютной истины и которое... способно доказать необходимость своего содержания». В основе всякой системы философского знания лежит система категорий. В системе категорий, лежащих в основе общих законов бытия, необходимо видеть единство субъективной и объективной их стороны: они «мысли, действительно пребывающие в действительном мире», и в то же время «субъективные мысли». «Понять предмет — значит найти в нем самого себя, определение своего духа». Если бы «закон, найденный мною в действительности», был только объективен, «тогда бы остался он недоступным

для моего разумения». Философское познание подымается над конечностью предметов, объектов и над конечностью субъективного духа. Такое познание возможно только как познание *a priori*, как познание системы «чистых мыслей, необходимо развивающихся из единой и всеобщей мысли, имеющих свое необходимое развитие независимо от опыта». Такое знание будет не только необходимым и всеобщим, но и будет «в состоянии объяснить тайну реализации», т. е. все единичное и особенное из всеобщего. Такое знание и есть философия.

Статью Бакунина, понятную и в целом приемлемую для каждого гегельянца, вряд ли можно считать удачной популяризацией — а ведь популяризацией она хочет быть. Критическая часть ясна и прозрачна. Положительная — не более как манифест, ничего не разъясняющий и негегельянца не способный удовлетворить. Полная неспособность Бакунина конкретно и наглядно показать, что, собственно, он имеет в виду, говоря о «всеобщности», «необходимости», неспособность его хоть сколько-нибудь разъяснить нефилософскому читателю значение проблемы категорий, указать, с какими законами имеет дело философия, делают статью Бакунина почти что бесполезной для русского читателя. Правда, гегельянцы были в восторге. Грановский, который читал статью в рукописи, говорит только: «умно, дельно и просто»; Белинский находит, что «статья... прекрасна. Этот человек может и должен писать — он много сделает для успеха мысли в своем отечестве». И редактора «Отечественных записок», Краевского<sup>4</sup>, статья «привела в восторг своею ясностью, последовательностью и простотою», она «образец философских статей на русском языке». Статья показывает, действительно, что знакомство Бакунина с Гегелем было основательно и серьезно. Но заменить чтение Гегеля она не могла бы.

Вторая статья — о значении философии, сохранившаяся в рукописи, — не появилась в печати. Вероятно, она не произвела на Краевского такого хорошего впечатления, как первая: не так страшен был ее размер — она вдвое больше первой; но она обещала еще продолжение — дальнейшую статью о пользе философии. Но главное был, несомненно, стиль статьи: это совершенно уже непопулярное изложение «Феноменологии духа»; и не только близкое изложение, но и такое же трудное, как сам оригинал, да ввиду краткости изложения, пожалуй, еще более трудное, чем гегелевский текст. К этому надо прибавить полную ненаглядность мышления Бакунина, который не способен хоть сколько-нибудь снизить к своему предполагаемому читателю, давая ему опору в образах. Статья действительно совершенно не годилась для русского литературно-

научного журнала. Для тогдашнего русского читателя она непонятна без комментария, — и единственным комментарием мог служить немецкий текст «Феноменологии духа» и «Энциклопедии». Но если статья не могла быть нужна русскому читателю как популяризация, то она была также не нужна и как специальная научная статья, ибо она в слишком сжатой форме только воспроизводила определенные места из произведений Гегеля.

При ближайшем ознакомлении со статьей читатель-специалист разочаровывается еще более. Бакунин довольно механически соединил два различных изложения феноменологии у Гегеля: в «Феноменологии духа» и в 3-й части «Энциклопедии». Первая половина статьи прослеживает движение, развитие сознания от чувственной достоверности через восприятие к рассудку. Здесь Бакунин довольно верно следует «Феноменологии духа» (Часть А. Сознание). Бакунин совершенно правильно уловил мысль Гегеля, что содержание и форма сознания растут вместе, неразрывно друг от друга, и прослеживает нарастание идеального содержания сознания вплоть до ступени самосознания. Он забывает, правда, указать на то, что «рост», «развитие» в том смысле, в каком они здесь понимаются, не есть процессы во времени, — эта забывчивость, наверно, очень затрудняла читателей.

Не имело бы смысла излагать сокращение «Феноменологии», даваемое Бакуниным. Он хочет показать, что философия возможна, — это значит, что сознание в своем развитии дорастает до постижения абсолютной истины, о которой он говорил в первой статье. Поэтому нельзя остановиться на той ступени, до которой доходит конспект «Феноменологии». Бакунин, снова следуя «Феноменологии», показывает, что рассудок «осуществляет отвлеченную всеобщность в многообразии собственных мыслей», различает в себе «отвлеченно-всеобщее» и «конкретно-особенное», распадается на отвлеченную, «пустую всеобщность» и «анархическое многообразие особенных мыслей». Единства достигнуть ему не удастся. Это единство достигается на ступени самосознания; сущность этого единства в том, что самосознание носит «в своих мыслях всю бесконечную истину объективного, предметного мира», что его «субъективные мысли» не противоречат «объективному миру природы», но, «напротив, проникают его и составляют его сущность». Здесь Бакунин возвращается к теме первой своей статьи. <...>

Статья о пользе философии осталась ненаписанной.

Вторая статья о философии в целом показывает степень знакомства Бакунина с Гегелем, его способность переводить Гегеля или пересказывать его мысли по-русски. Но самостоятельного интереса и ценности она имеет значительно меньше, чем обе другие статьи,



о которых мы говорили ранее. Слишком близко придерживаясь гегелевского текста, притом не представляя собою органического целого, эта статья очень мало дает нам и для понимания философского развития Бакунина.

## 6

Поездка в Германию должна была стать для Бакунина началом новой жизни, исполнением мечтаний долгого ряда лет. Энтузиастический друг Бакунина, Константин Аксаков, воспел его поездку как отправление в Святую Землю «молодого крестonosца». Из Германии «крестonosец» пишет: «Теперь спешу в Берлин, где должна начаться моя *новая жизнь*... Я всей душой предамся науке, а наука для меня не только одно отвлеченное знание, но и жизнь вместе... мне необходимо *крещение*, я жду этого *возрождения* в Берлине...» Даже известие о смерти Станкевича, которое доходит до него через месяц по приезде в Берлин, конечно, наносит ему серьезный удар, но в то же время должно стать для него «новым, неисчерпаемым источником духовной, высокой и святой жизни». Восторг Бакунина растет неизмеримо, разогретый еще знакомством с Вердером. Снова — в гегельянской одежде — выступают уже нам знакомые мистические мотивы: преодоление, «снятие» конечного «я» в Бесконечности — вот задача, назначение и счастье человека. Внутренние противоречия, в которых стоит человек как смертное существо, должны быть «сняты» в гармонии Бесконечного. Путь к этому снятию — углубление в себя — «постоянное самоуглубление... всегдашняя боль, но вместе с тем и высочайшее блаженство». «Самоотрицанием только конечного и единственного в человеке становится в нем действительным и жизненным Богочеловек — вечная история становления человека Богом». Письма Бакунина наполнены теперь восторженными излияниями, которым навязчивая гегельянская терминология и постоянно возвращающиеся мистические мотивы придают иногда жуткую, почти патологическую, окраску. Тема этих излияний всегда одна и та же: через самоанализ и самоотрицание, через снятие конечного в человеке («очищение») человек подымается в сферу «бесконечной любви», открывает путь проявлению в нем «бесконечной, всемогущей Воли» («обожение»). Между тем теоретическая основа этой мистической философии — та же, с которой мы познакомились в статьях Бакунина: путь к абсолютной истине философии Гегеля оказался для Бакунина путем к Богу, к *его* Богу.

Бакунин хочет на пути «очищения» своего «я» уничтожить, подавить «эгоизм», «дурные страсти». «Как осчастлививляет признание

нашего ничтожества, нашей слабости, если оно в то же время является полной самоотдачей, — познанием бесконечного могущества живущего в нас святого Духа». Путь к преодолению собственной конечности для Бакунина остается тот же — путь «гнозиса», познания. Свои философские занятия он рассматривает как исполнение этой нравственно-религиозной задачи. Он слушает лекции (логику и историю философии у Вердера, Габлера<sup>5</sup>, вочеловечение Бога у Фатке<sup>6</sup>, эстетику у Гото<sup>7</sup>), читает Гегеля — все это наполняет его невообразимым блаженством, сознанием, что «здесь можно все узнать, и я все узнаю». «Мои занятия не есть педантическое собирание полезных, но мертвых знаний, а религиозное и искреннейшее стремление всего моего существа к истине. Теперь я переживаю выполнение моей внутренней жизни... Я чувствую себя вновь живым и свободным; вера в Бога и в вечное бессмертное достоинство каждого отдельного человека во мне вновь оживилась». Он «разрушает мир рефлексии».

«Стать человеком — вот высшее призвание человека; сделать своего гения, сделать Бога, который предвечно стал в его личности, сознательным содержанием своей жизни — это единственная задача жизни; все великое, таинственное и святое заложено в непроницаемом и неразложимом своеобразии, которое мы называем личностью; всеобщее, взятое абстрактно... остается всегда мелким, поверхностным и мертвым; только как личность открывшийся Бог, только бессмертная и просветленная Духом Божиим единичность и своеобразие человека как личности является живою истиною, и осуществление этой истины есть одна только любовь, и высшая ступень всякого делания и хотения — именно она — там, где оно (!) поднимается из себя самого, переходя в живое пламя любви и святую действительность личного духа». Истина находится «в сердце каждого человека как его единственная сущность, как единственный живой источник его богочеловеческой сущности». «Простота — эта истинная, божественная простота — а это не что иное, как изначальная личность (Ur-Persoenlichkeit) и изначальное своеобразие (Ur-Eigentuemlichkeit) каждого человека в Боге, — должна сама произвести себя во множественности, посредством преодоления самой себя... Надо жить широко и просто, — все внешние требования должны отступить на задний план перед требованием изначальной простоты и красоты как единственного источника всякой истинной, исполненной Божества жизни».

Последнее письмо, выдержанное в этом стиле, написано 3 января 1842 г. и посвящено, главным образом, проблеме бессмертия: Бакунин верит «безусловно» в личное бессмертие. Каждый человек, впрочем, должен пройти через сомнения, но только чтобы укрепить

в них свою веру. Впрочем, «бессмертие не должно быть требованием эгоизма», но «блаженным, вечно присущим самосознанием исполнившего и себя обнимающего личного духа. Индивидуальность должна пройти, исчезнуть — для того, чтобы стать личностью; не личностью вообще, но этой, неделимой личностью...». Ведь «самоотрицание есть общий и высший закон всякой духовной жизни... Дух имеет только то, что он отдает. И смерть, это совершенное разрушение индивидуальности, есть высшее исполнение этого таинства, а потому и высшее исполнение личности. И вот почему смерть присутствует в своем утвердительном значении в самых высоких и блаженных минутах жизни. Утвердительное, благородное, исполняющее значение смерти должно быть проведено через всю жизнь нашу — для того, чтобы она была жизнью. Человек должен беспрестанно умирать — для того, чтобы беспрепятственно жить; беспрестанно отдавать себя всего, без всякого исключения и без всякой рефлексии — для того, чтобы всегда обладать собою... И только для жизни, лишенной благодати, смерть есть худое отрицание, а жизнь — худое продолжение...». Духовная работа Бакунина все еще вращается в сфере религиозных проблем, и все почти, что он пишет, носит религиозную окраску. Как сказано, часто это уже только псевдоморфоза.

Из религиозной сферы и из знакомой нам уже проблематики исходят и новые тоны, звучащие (уже в 1841 г.) в письмах Бакунина. Вероятно, не без влияния гегелевской «левой» он развивает теорию философского радикализма, к которой вскоре присоединяется и «философия дела». Здесь — не единственный пример того, как чисто философский радикализм приводил на разных путях отдельных представителей школы Гегеля к политическому, эстетическому, религиозному радикализму: Маркс, Макс Штирнер<sup>8</sup> и Ницше — все связаны с Гегелем. «Жизнь — блаженство, но не томящееся, а такое, в котором играет буря и носятся черные тучи, чтобы объединиться в высшей гармонии». «Боже, избави нас от всякого жалкого миролюбия — последовательность в абстракции ведет вскоре к сознанию ее односторонности и к действительному освобождению; у миролюбия же нет никакого выхода, ибо оно кажется имеющим все и в действительности ничего не имеет, так как оно ничего не воспроизводит из себя самого, а только принимает в себя все, что ему ни встречается. Между тем только то истинно и действительно для человека, что он производит из внутреннейшего источника своего своеобразия». Так писал Бакунин в начале 1841 г. В конце того же года он идет еще дальше и видит уже в односторонности гегелевской «левой», например Арнольда Руге, в односторонности, которую Бакунин, правда, еще отвергает, «большую пользу немцам», так как

односторонность «вырывает их из гнилой золотой и неподвижной середины, в которой они так давно покоятся», — ударение отрицания лежит здесь, как кажется, не столько на «середине», сколько на «покое». «Воодушевление истины не исключает, — думает Бакунин, — спокойной, благоразумной пронизательности. Напротив, это благоразумие возможно только в истинном воодушевлении, и воодушевление только тогда истинно, если оно стало могучим и действительно исполнено своим содержанием... Если мы говорим, что жизнь прекрасна и божественна, то мы уже тем самым говорим, что она полна противоречий; и если мы говорим о противоречиях, то это не пустое слово; мы говорим о таких противоречиях, которые не пустые тени, а действительные полные крови противоречия. И эти противоречия, и только они, могут раствориться в полной гармонии любви и блаженства, — и они должны раствориться, именно потому, что они — действительные противоречия... Противоречия — это жизнь, очарование жизни, и кто не может их выносить, тот вообще не может вынести жизни; но каждый человек должен и поэтому может; в этом состоит вся его человечность». Вера в конечную гармонию «как небо от земли далека от пассивного приятия истины; она — дело и только собственное дело; только тот *есть*, кто сделал себя собою самим, это — достоинство и бесконечность человека, источник любви и всяческого блаженства».

А летом и осенью 1842 г. Бакунин идет еще дальше: «Жить — значит не только умствовать, но быть, а это значит — быть действительно действенно деятельным; ведь только дело есть жизнь, и действительное дело возможно только при действительном противоречии; мы не хотим ни в какой мере отказаться от нашей прежней идеальности — наоборот, мы хотим ее еще увеличить и расширить чудом нашего живого дела. <...> Долой логическое и теоретическое фантазирование о конечном и бесконечном: такие вещи можно схватить только живым делом. <...> Надо делать, постоянно делать, чтобы быть человеком, это значит — чтобы иметь действительное чувство самого себя, чувство своего человеческого достоинства». И наконец — «нравственная свобода без внешней только пустой призрак».

Это обозначает, однако, пожалуй, уже поворот к политическому «делу». Русские проблемы становятся в это время для Бакунина политическими вопросами. Но уже теперь Бакунин делает выбор в пользу Европы, а не «теперешней» России. <...> В 1842 г. Бакунин переезжает из Берлина в Дрезден. Несмотря на все перемены в жизни и настроениях Бакунина, нас все же поражает как неожиданность упоминание осенью 1842 г. о статье, над которой Бакунин работает и «где сильно достается немцам и филистерам», — «немцы и фили-

стеры» эти, оказывается, не кто иные, как гегельянцы! Бакунин, впрочем, не порывает окончательно со своим берлинским кругом знакомых: он все еще справляется о Вердере, он пытается даже войти в сношения с Шеллингом. Обещанная статья действительно появляется в «Немецких ежегодниках» — философском органе гегелевской «левой» (17–21 октября, № 247–151) под заглавием «Реакция в Германии», с подзаголовком «Фрагмент, написанный французом» и подписью «Жюль Элизар».

## 7

Статья Бакунина в «Немецких ежегодниках» принадлежит, без сомнения, к наиболее интересным статьям, напечатанным за все время существования журнала. Она может быть поставлена наряду со статьями Фейербаха, редактора журнала, Руге и Бруно Бауэра<sup>9</sup>. Бакунин, оказывается, уже радикальнее, чем Руге. Снова бросается в глаза склонность Бакунина к спекулятивному мышлению. Политический вопрос он подымает в сферу теоретической философии и сводит его в своей статье к спору об основных проблемах философии.

Ход мыслей статьи таков. Осуществление свободы стоит «на порядке дня мировой истории». Бакунин думает, что он выступает на защиту мировой истории, вскрывая теоретическую слабость «противников свободы». Его не интересуют противники, вообще не понимающие, что такое свобода. Но представителей «реакционной партии», борющихся против свободы с известной принципиальной точки зрения, Бакунин считает нужным принимать всерьез: это — консерватизм, историческая школа, «положительная» философия (т. е. шеллингианство). Начала, из которых исходит реакция, не случайны; это доказывает и та сила, которую реакция приобрела, ведь история — «свободное, но вместе с тем и необходимое развитие свободного духа». Сила реакции так точно необходима, как и слабость демократической партии. Демократия ограничивается только отрицанием существующего: «...демократизм существует, но еще не как он сам в своем положительном («аффирмативном») богатстве». Только в будущем вскроется положительная сторона демократизма: «...новое, живое и животворящее откровение — новое небо и новая земля, молодой и прекрасный мир, в котором все диссонансы современности растворятся в гармоническом единстве». Религиозная окраска языка Бакунина проявляется и здесь, и, как увидим, она не случайна.

Бакунин видит сущность реакции не столько в том, что реакция признает и утверждает существующее, сколько в том, что реакция

отказывает отрицанию существующего в оправдании. В этом понимании сущности реакции Бакунин — настоящий гегельянец. Поэтому он нападает не столько на представителей последовательной реакции, сколько на проповедников «примирения» между новым и старым, на всех, кто говорит о «среднем» пути. «Посредники», видящие политическую задачу современности в том, чтобы добиться примирения между враждебными сторонами — «положительным» и его отрицанием, — главные враги Бакунина. Ибо «примирение» невозможно или осуждено оставаться только внешним. Бакунин с такой энергией защищает примат отрицания, что, по существу, проблема синтеза уже не находит в его «диалектике» никакого места.

Философия Гегеля все еще остается для Бакунина вершиной образования, правда — только «одностороннего, теоретического образования». Но философия Гегеля, именно как вершина, — уже начало саморазложения, самоопределения теории: она находится еще в пределах теории, но в то же время уже выходит за ее пределы. Теория должна теперь раствориться в «практическом мире», в «личности свободы».

То, что сделало философию Гегеля вершиной развития духа, это ее теория противоречия. Теория противоречия Гегеля отрицает, должна отрицать, всякое «примирение» положительного и отрицательного. Противоположность сама по себе — «целостна, абсолютна, истинна», т. е. она является не только отрицанием, но одновременно и вместе с тем и утверждением, т. е. «всеобъемлющей, целостной, абсолютной полнотой, не имеющей ничего вне себя». Не нужно говорить о том, что такое понимание отрицания не имеет ничего общего с пониманием Гегеля! Бакунин замечает сам, что ему понадобилась бы совершенно новая теория отрицания, чтобы обосновать его положительный характер. Поэтому он только утверждает, что противоположность есть «скрытая», «по себе сущая» целостность («Totalitaet»), а ее существование состоит в «противоречивом раздвоении его обоих членов».

В противоположность Гегелю, для которого положение и отрицание, утверждение и противоположность вовсе не равноправны, но положению принадлежит в диалектическом процессе первенство («Энциклопедия», § 85), Бакунин старается показать и доказать первенство отрицания. Положительное только по видимости покоится в себе, является самым абсолютным покоем. В действительности оно положительно и неподвижно только в противоположность отрицательному, в противопоставлении абсолютному беспокойству отрицания. А противостояние, противоположение себя отрицательному, борьба с ним — а в этом и состоит основная деятельность

положительного — уже является движением; если же мы видим в положительном и движение, то оно одновременно является и отрицательным.

Это рассуждение, как полагает Бакунин, уже доказывает «перевес отрицания», так как показано, что отрицание есть момент, выходящий за свои пределы и охватывающий и положительное. «Отрицательное, как определенная жизнь самого положительного, заключает в себе самую целостность противоречия», в нем заключены оба члена противоречия, и оно, таким образом, «абсолютно оправданно». Всякая попытка «снять», отрицать отрицание — а такой попыткой была бы всякая попытка примирить положение с отрицанием — отрицает отрицание лишь постольку, поскольку оно объявляет себя положительным, пытается сделаться положительным, становится «филистерски спокойным». Такая попытка может только пробудить отрицание к выполнению его призвания, «к неустанному и беспощадному уничтожению всего положительно существующего».

Ведь всякая попытка примирения положительного и отрицательного отрицает одновременно положительное в пользу отрицательного и отрицательное — в пользу положительного. Общим в этих обоих актах остается отрицание, «уничтожение, страстное поглощение положительного». «Противоречие целостно и истинно... Как целостное оно насквозь живо, и энергия его всеобъемлющей живости состоит как раз... в этом неустанном самосожигании положительного на чистом огне отрицательного».

Бакунин не пытается приложить эти рассуждения к конкретным политическим проблемам. Снова обнаруживается его неспособность находить конкретное выражение для своих теоретических утверждений. Впрочем, для читателей «Ежегодников» практический смысл теоретических утверждений Бакунина должен был быть ясен. Бакунин только между прочим упоминает Маргейнеке<sup>10</sup> как представителя «посредствующей» точки зрения и бросает в лицо разделяющим эту точку зрения слова Апокалипсиса о «теплых». Несколько строк посвящено историческому примеру — протестантизму. Но эти несколько строк производят впечатление ненужного приписка. Для Бакунина вопрос до конца решен *теоретическими* рассуждениями. Ему даже не приходит в голову вернуться к рассмотрению важного вопроса, о котором он в начале статьи сказал несколько слов: к поставленному и решенному Гегелем вопросу, каким образом отрицание наполняется положительным содержанием. Утверждая с такой силой перевес отрицания, Бакунин должен был этот вопрос обсудить со своей собственной, новой точки зрения:

каким образом при *таком* безраздельном, самодержавном господстве отрицания возможно вообще новое, дальнейшее положение. Если бы Бакунин серьезно задумался над этим вопросом, может статься, что все его построение рушилось бы.

Вместо этого Бакунин заканчивает свою статью страстным манифестом, в котором он отвергает вообще существование положительного в тогдашней действительности и поет гимн принципу *уничтожения*. При этом он совершенно забывает, что «уничтожение» у Гегеля — совершенно особая категория, отнюдь не тождественная с отрицанием. «Я утверждаю, что противоположности еще никогда не выступали так резко, как сейчас, — что вечная противоположность... свободы и несвободы в нашей современности, которая так напоминает период разложения языческого мира, дошли и поднялись до своей последней и наивысшей вершины». Во французской революции, «достойным сыном» которой был Наполеон, в немецкой — послегегелевской — философии (Штраус<sup>11</sup>, Фейербах, Бруно Бауэр) он видит, что идея свободы врывается в действительность. «Положительные» религии (католицизм и протестантизм) и современное государство — уже только «развалины».

Революционный дух не преодолен. Он только ушел в самого себя, после того как он потряс весь мир в его скрепах. Он только углубился в самого себя, чтобы раскрыться вскоре снова как положительное, творческое начало, и роется теперь, «если позволено употребить это выражение Гегеля, как крот под землей». Бакунин видит уже «явления вокруг нас», которые предвещают, «что дух, этот старый крот, уже закончил свою подземную работу и что он вскоре снова появится (на поверхности) как судия» действительности. Эти явления, возвещающие начало нового времени, — «социалистически-религиозные союзы», существующие «всюду, в особенности во Франции и Англии», «черпающие жизнь из совершенно новых и неизвестных источников, незаметно развивающиеся и расширяющиеся». «Будем доверять вечному Духу, который нас потому разрушает и уничтожает, что он есть неисчерпаемый и вечный творческий источник всей жизни. Радость разрушения одновременно — творческая радость».

Этот манифест завершает *философское* развитие Бакунина. Он не видит дальнейшего пути развития для философии. Философия Гегеля — последняя система философии, последняя вершина, но притом «односторонне теоретическая» вершина философии. С гегельянства начинается «саморазложение современного образования», так что философия Гегеля находится еще в пределах философской теории, но вместе с тем — уже и за ее пределами. Философия Гегеля «постулирует... новый практический мир», который не будет более



знать «готовых теорий», а лишь — «деяние, дело практического автономного Духа».

Здесь Бакунин дошел до той точки, в которой многие иные представители гегелевской «левой» распространились с идеализмом. Но Бакунин делает последний шаг к этому поворотному пункту с решительностью тем большею, что для него граница идеализма оказывается границей философии вообще. С таким же радикализмом, с такой же решительностью говорили, как кажется, только еще два представителя «левой» — Бруно Бауэр и Макс Штирнер.

Замечательно примечание, которое сделал Руге к статье Бакунина: «...новый, знаменательный факт. Немецкая философия и прежде имела за границей дилетантов-последователей и несамостоятельных учеников, как Кузен<sup>12</sup> или Андре<sup>13</sup>: но до сих пор еще не находилось людей за границей, которые бы задали немецким философам и политикам философскую головоломку. Таким образом за граница вырывает у нас и венец теории...» «Заграница» была не Франция, как думали читатели статьи «Жюля Элизара». «Заграница» была Россия.

В старой литературе Бакунину приписывали еще замечательную брошюру против Шеллинга: «Шеллинг и Откровение». Сам Руге зачем-то поддерживал этот миф. Брошюра была написана Фридрихом Энгельсом.

## 8

В духовной жизни Бакунина все его философские увлечения и убеждения находили своеобразную почву, на которой они разрастались и расцветали необычным для реальностей из сферы мысли образом. Мечты и мысли Бакунина — не полупрозрачные «голубые цветки», а целые леса кактусов, тяжелых, плотных, массивных. И теперь — «начало отрицания» становится во внутренней жизни Бакунина такою же массивною реальностью, какою были для него ранее «любовь», «Дух», «Бог». Переход от Фихте к Гегелю мало изменил во фразеологии Бакунина. Переход от Гегеля к гегелевской «левой» заставил Бакунина радикально перестроить весь этот свой внутренний мир и способы обнаружения этого мира. Бакунин ощущает себя живым носителем, так сказать, воплощением начала отрицания. Как раньше вся жизнь была «примирением», так теперь Бакунин «знает из своей рефлексии, а особенно из своего живого опыта... что отрицание есть единственная пища и основное условие всякой живой жизни». Пафос отрицания в статье «Ежегодников» так поразили «немцев», что Руге еще через тридцать лет с восторгом о ней отзывается; об авторе Руге не мог сказать много хорошего.

Сильное впечатление произвела статья и на тех из русских друзей Бакунина (Герцен, Белинский), которым она стала доступна.

Нас не интересует жизнь Бакунина как революционера. Для нас существенно только отметить, что уход от философии не сразу уничтожил в Бакунине все элементы его гегельянства. Недаром он «прослужил при московском гегельянстве» не два года, как говорил Герцен, а пять лет. В письмах сестрам и братьям Бакунин подчеркивает, что он стоит в ином мире, чем его по-прежнему живущие философски-религиозной проблематикой родные. Все же он еще в 1843 г., уже в Швейцарии, «философствует» и даже читает Шеллинга. Как кажется, Бакунин работает над какой-то книгой о Фейербахе (в 1842 и даже еще в 1844 г.) — впрочем, вероятно, эта книга должна была быть опровержением всех и всяческих философов. Еще в 1847 г. Бакунин рассуждает с Прудоном в Париже о Гегеле: к сожалению, Герцен, сообщая нам об этом, прикрывает здесь (это с ним так часто случается!) неизвестную нам «правду» «вымыслом», так что мы на основе этого свидетельства не можем считать рассказы Бакунина источником гегельянства Прудона. Во всяком случае, вряд ли Бакунин начал «обращать Прудона в гегельянскую веру»; вероятно, он только отвечал на вопросы Прудона. Во всяком случае, Гегель стал Бакунину внутренне таким же чуждым, как и все иные философы. «Долой все религиозные и философские теории! — пишет он в 1845 г. — Они только ложь; истина — не теория, но дело, жизнь сама». От философии, от «трансцендентального знания» надо отказаться, потому что «познавать истину — не значит только мыслить, но жить, и жизнь более, чем мышление: жизнь есть чудотворное осуществление мысли». Теперь ему уже кажется, что это был только «момент безумия», когда он думал и верил, что «я нечто понимаю и знаю; но, вернувшись вскоре к разуму и жизни, я в конце концов убедился, что жизнь, любовь и дело могут быть поняты только посредством жизни, любви и дела. Тогда я окончательно отказался от трансцендентального знания», — вспоминал Бакунин в 1849 г. Но даже тогда он еще мог написать: «Вы ошибаетесь, если думаете, что я не верю в Бога; но я совершенно отказался от постижения его с помощью науки и теории... Истина, бесконечность в такой же мере обретается в бесконечно малом (в человеческой жизни!), как и в бесконечно большом... Я и ищу Бога в людях, в их свободе, а теперь я ищу Бога в революции». <...>

## 9

Бакунин-революционер еще затрагивает в своих статьях философские темы. В 1843 г. он публикует в «Швейцарском республиканце» (43–45, 47) анонимную незаконченную статью о коммунизме В. Вейтлинга. В ней Бакунин все еще цитирует свой излюбленный текст: «и познают истину, и она освободит их». Но философское содержание статьи скудно: Бакунин отвергает социальную реформу, «не желающую ничего знать о духовной стороне жизни и о доставляемых ею высоких наслаждениях». Философия и коммунизм родственны, — они «родились из духа нашего времени и представляют самые мощные его откровения». Цель философии — истина, но истина только отрицательная; «философия не прекращала упорной борьбы со всеми предрассудками», которые «мешали людям... осуществить царство Божие на земле». Стремление к осуществлению царства Божия и есть точка соприкосновения философии с коммунизмом. Если даже философия и познает и признает это свое единство с коммунизмом, то здесь и ее предел, которого преступить она не может. За этим же пределом — «дело», «действительное, одушевленное любовью и вытекающее из божественной сущности первобытного равенства, общество свободных людей, посягающее на осуществление того, что составляет божественную сущность христианства, истинный коммунизм». Религия демократии — преемница христианства. Все эти рассуждения показывают яснее всего, что из сферы философии Бакунин окончательно вышел. И письмо Бакунина к Руге, напечатанное в «Немецко-французских ежегодниках» в Париже (1844), знает философию только как «освободительницу» от предрассудков, как ее знал XVIII в. и как ее высмеял сам Бакунин в своей первой напечатанной статье. Но даже и такая философия — для Бакунина, как кажется, «небо философской теории», а он хочет жить не на небе, а на земле. Эта земля — «народ», масса.

Можно найти следы гегелевских если не мыслей, то стиля мышления у Бакунина и в политических статьях, и высказываниях годов революции. После поражения дрезденского восстания Бакунин мечтает в тюремном заключении об обновлении Европы через синтез силы и познания; этот синтез, думает он, может быть достигнут у немцев путем *крайнего развития* свойственного им «доктринаризма», который тогда перейдет в свою противоположность. Эта мысль была, впрочем, уклонением с пути, на который Бакунин вступил в 1842 г. В иных случаях Бакунин отрицает за философией всякое значение — даже не нуждается в ней как в подготовке ее противоположности. В письме из Шлиссельбурга он закликает своего брата

оставить философию. «Исповедь», написанная в крепости, содержит самые острые высказывания против философии: «Сама Германия излечила меня от преобладавшей в ней философской болезни...» Бакунин признается, что искал в метафизике «жизни, а в ней смерть и скука, искал дела, а в ней абсолютное безделье».

В «Государстве и анархии» в 1873 г. Бакунин бросает между прочим взгляд на развитие и значение философии Гегеля. «Кто не жил в то время, тот никогда не поймет, до какой степени было сильно обаяние этой философской системы в тридцатых и сороковых годах. Думали, что вечно искомый абсолют наконец найден и его можно покупать в розницу и оптом в Берлине. <...> Философия Гегеля в истории развития человеческой мысли была в самом деле явлением значительным. Она была последним и окончательным словом... пантеистического и абстрактно-умозрительного движения германского духа», т. е. немецкого идеализма. Гегельянство уничтожило, убило мир немецкого идеализма, «придя путем железной логики к окончательному сознанию его и своей собственной бесконечной несостоятельности и... пустоты».

Гегельянцев, следовательно и самого себя, Бакунин характеризует словами: «...этот мир, как фата-моргана... висел между небом и землею, обратил самую жизнь своих рефлектирующих и поэтизирующих обитателей в непрерывную вереницу сомнамбулических представлений и опытов, сделал их никуда не годными для жизни или, что еще хуже, осудил их делать в мире действительном совершенно противоположное тому, что они обожали в поэтическом или метафизическом идеале». Бакунин, правда, еще хвалит гегелевскую «левую» — но только за ее «отрицательное дело», за разрушение ею метафизики. Даже Фейербах для Бакунина недостаточно радикален. Даже «законные наследники» гегелевской «левой», материалисты, например «гг. Бюхнер, Маркс и др.», находятся, по мнению Бакунина, во власти «метафизической абстрактной мысли».

В эти поздние годы своей жизни Бакунин уже не философский радикал, но нефилософский и антифилософский *нигилист*. Он уже не «ищет Бога в революции». Он борется не только против государства, церкви, философии, да и против всей культуры в целом, но и — в особенности — против Бога.

